



ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

АЛЕКСАНДР
ПУШКИН

Полное собрание
прозы
В ОДНОМ ТОМЕ



2022
МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
П91

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты работ
художников *Акима Карнеева* и *Николая Сверчкова*

Иллюстрация в марке серии:

© Ilusletra CR/ Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Пушкин, Александр Сергеевич.

П91 Полное собрание прозы в одном томе / Александр Пушкин. —
Москва : Эксмо, 2022. — 704 с.

ISBN 978-5-04-171797-1

А. С. Пушкин (1799—1837) — величайший русский поэт, достигший в своем творчестве необыкновенной легкости, изысканности и точности выражения мысли. Его перу было подвластно все: философская, гражданская, любовная лирика, переводы, подражания древним, сатирические жанры, в том числе эпиграммы, драмы и проза. Свои жизненные и мировоззренческие искания А. С. Пушкин воплотил как в поэзии, так и в безупречной прозе, в которых отразились широта интересов и трансформация взглядов поэта. В книгу включены все романы и повести А. С. Пушкина, а также его исторический художественный труд «История Пугачева».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-171797-1

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Романы и повести



АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Железной волею Петра
Преображенная Россия.

Н. Языков

Глава I

Я в Париже;
Я начал жить, а не ды-
шать.

Дмитриев.

Журнал путешественника

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в испанской войне и, тяжело раненный, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не преставаля осведомяться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здравии, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.

По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Палероля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Law*; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.

Между тем, общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, Ученость и Философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.

Temps fortuné marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D'un pied léger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l'on fait tout excepté pénitence**.

* Лоу.

** Счастливое время, отмеченное вольностью нравов,
Когда безумие, звеня своей погремушкой,
Легкими стопами обегает всю Францию,
Когда ни один из смертных не изволит быть богомольным.
Когда готовы на все, кроме покаяния (*франц.*).

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar* и ловили его наперехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера: он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтеские и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления, и предавался общему вихрю со всею пылкостию своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.

Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. 17 лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания: это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род

* Царского арапа (*франц.*).

какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудренных париков ее гостининой. (Ибрагим был ранен в голову, и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум — а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима, графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность... Мервиль первый заметил эту взаимную склонность, и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо

хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная иступлению его страсти, хотела противопоставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму...

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, советы, предложения — всё было истощено и всё отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.

Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы

душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слёзы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Дня два перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шепот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания обливал его ужасом... вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини — черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приблизился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием.

Всё вошло в обыкновенный порядок. Но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться, и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, гибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал;

он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.

Глава II

Не сильно нежит красота,
 Не столько восхищает радость,
 Не столько легкомыслен ум,
 Не столько я благополучен...
 Желанием честей размучен.
 Зовет, я слышу, славы шум!

Державин

Дни, месяцы проходили и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться большим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра I-го. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете, — сказал ему герцог, — Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долгое пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились

подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Оставайтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею, — сказал ему регент, — но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы всё на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «*Vonne nuit*»*, — сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «*Vonne nuit, messieurs*»**, — повторила графиня. Он всё не двигался... наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.

Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я всё, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностью... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что позволяет в теории: его

* Доброй ночи (*франц.*).

** Доброй ночи, господа (*франц.*).

холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты наконец устыдилась бы своей страсти... что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...

Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни всё, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?

Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни близких. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора, — отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, о твоём верном Ибрагиме».

В ту же ночь он отправился в Россию.

Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существовительною. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала. Но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в 17-й день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту,

облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоём приезде, — сказал Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына Сада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы, и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные, пронизательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы, стояли за нею и почтительно приблизились к Петру. «Лиза, — сказал он одной из них, — помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предме-

тах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прославившего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями.

Государь вышел часа через два. «Посмотрим, — сказал он Ибрагиму, — не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов, Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, всё ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу».

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ

которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня D., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздною и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совоюкою с ним действовать на судьбу великого народа возбуждала в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж в объятия милой графини.

Глава III

Как облака на небе,
 Так мысли в нас меняют легкий образ.
 Что любим днесь, то завтра ненавидим.

В. Кюхельбекер

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные — следственно не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в Сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии утверждающего морское ве-

личие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Кошневичем, в часы отдохновения рассматривающего перевода иностранных публицистов, или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровой, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец — он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слёзы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке; Ибрагим с живостию оборотился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже, в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сейчас только приехал, — сказал Корсаков, — и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоём отсутствии; графиня D. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад, — продолжал Корсаков, — что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь делают, чем занимаются? кто твой портной? заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь не до меня; в другое время наговоримся досыта; еду представляться государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и не-

доверчивости. «Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоём отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, не смотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что считаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине, и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять; он уже представлялся государю — и по своему обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous*, — сказал он Ибрагиму, — государь престранный человек, вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтобы сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мною не случилось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и вероятно был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда; по крайней мере он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста, будь моим Ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более для него занимательному. «Ну, что графиня D.?» — «Графиня? она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты вытаращил свои арапские

* Между нами (*франц.*).

белки? или всё это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: это я предвидел, это должно было случиться. Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.

Корсаков сидел в шлаффорке*, читая французскую книгу. «Так рано», — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй, — отвечал тот, — уже половина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажы, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по поня-

* шлаффорке (*совр.*).

тиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь*, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой комнате, освещенной салными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах, толпою двигались взад и вперед при непрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошью моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием присутствовали на сих нововведенных игрищах, и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметь новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Que diable est-ce que tout cela?»** — спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностранцы,

* настезь (*совр.*).

** Что за чертовщина все это? (*франц.*)

важно покуривая свои глиняные трубки и опорожнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались — и тотчас ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.

Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостями, одна в особенности ему понравилась. Ей было около 16 лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством, и казалось не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился: во-первых, подошел к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно

должен выпить *кубок большого орла*. Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазией. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага, — сказал Петр, увидя Корсакова, — попался, брат! Изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков, — сказал ему Петр, — штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из кругу, но зашпатель и чуть не упал, к неопisanному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы присесть и постукивать каблучками с большим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с нею менуэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок большого орла!..», но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головою болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.

Глава IV

Нескоро ели предки наши,
 Нескоро двигались кругом
 Ковши, серебряные чаши
 С кипящим пивом и вином.

Руслан и Людмила

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего, боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин; по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины.

Дочери его было 17 лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, т. е. окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет 50 от роду, правая нога была у него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способна к менуетам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкостью выделявала самые трудные *па*. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною.

День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего указа-

ми государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели — мужчины по одной стороне, женщины по другой; — на конце заняли свои привычные места: барская барыня, в старинном шушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни, звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец, хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранный цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.

— Здравствуй, Екимовна, — сказал князь Лыков, — каково поживаешь?

— Подобру-поздорову, кум: поючи да пляшучи, женишков поджидаячи.

— Где ты была, дура? — спросил хозяин.

— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для Божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру.

При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.

— А дура-то врет, врет, да и правду соврет, — сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая. — Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а, право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери входят — нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — сущие мученицы, мои голубушки.

— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, — сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе 3000 душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. — По мне, жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новёшенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды — поглядишь — сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? разорение русскому дворянству! беда, да и только. — При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марию Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины.

— А кто виноват, — сказал Гаврила Афанасьевич, напняя кружку кислых щей. — Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем.

— А что нам делать, коли не наша воля? — возразил Кирила Петрович. — Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку,

а жена за наряды. — Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими Господь за прегрешения наши.

Марья Ильинична сидела, как на иголках: язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях?

— А то в них дурно, — отвечал разгоряченный супруг, — что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское: *жена да убоится своего мужа*; хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам-вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.

— Сказал бы словечко, да волк недалечко, — сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич. — А признаюсь — ассамблеи и мне не по нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напойт. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то бог несет, уж не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! небось, не мог остановиться у ворот, да потрудиться пешком дойти до крыльца — куды! влетел! распаркался! разболтался!.. Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла подмышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея... пардон». — Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.

— Ни дать, ни взять — Корсаков, — сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало-помалу восстановилось. — А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из неметчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости Господи), царский арап всех более на человека походит.

— Конечно, — заметил Гаврила Афанасьевич, — человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты? — продолжал он, обращаясь к слугам. — Бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...

— Старая борода, не бредишь ли? — прервала дура Екимовна. — Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги разбегались, как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громкозвучный голос Петра, всё утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа», — сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскивали в толпе молодую хозяйскую дочь; он позвал ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. «Ты час от часу хорошеешь, — сказал ей государь и по своему обыкновению поцеловал ее в голову; потом обратясь к гостям: — «Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку, и подал ее с поклоном госу-

дарю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе шей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту пред сим шумно оживленный веселием и говорливостию, продолжался в тишине и принужденности. Хозяин, из почтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич! — сказал он хозяину. — Мне нужно с тобою поговорить наедине», — и, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу, и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.

Глава V

Я тебе жену добуду
Иль я мельником не буду.

*Аблесимов,
в опере «Мельник»*

Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы отвечивал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи, и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил

его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Серdito приказал он слугам скорее собирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать, в ногах князя Лыкова и начал вполголоса следующий разговор:

— Недаром государь ко мне пожаловал; угадьте, о чем он изволил со мною беседовать?

— Как нам знать, батюшка-братец, — сказала Татьяна Афанасьевна.

— Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? — сказал тесть. — Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей — не одних дьяков посылают к чужим государям.

— Нет, — отвечал зять, нахмурясь. — Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов, — но эта статья особая.

— Так о чем же, братец, — сказала Татьяна Афанасьевна, — изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

— Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.

— Что же такое, братец? о чем дело?

— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.

— Слава богу, — сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь. — Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених, — дай бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?

— Гм, — крикнул Гаврила Афанасьевич, — за кого? то-то, за кого.

— А за кого же? — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.

— Отгадайте, — сказал Гаврила Афанасьевич.

— Батюшка-братец, — отвечала старушка, — как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?

— Нет, не Долгорукий.

— Да и бог с ним: больно спесив. Шенн, Троекуров?

— Нет, ни тот ни другой.

— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну так Мирославский?

— Нет, не он.

— И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елецкий? Львов? нет? неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу?

— За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа Ибрагима!»

— Батюшка-братец, — сказала старушка слезливым голосом, — не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньки в когти черному дьяволу.

— Но как же, — возразил Гаврила Афанасьевич, — отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?

— Как, — воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел, — Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!

— Он роду не простого, — сказал Гаврила Афанасьевич, — он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич, — перервала старушка, — слышали мы сказку про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.

— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопые дело повиноваться ему во всем.

В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась — и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.

Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, разбила голову о кованый сундук, где хранилось ее приданое.

Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе — и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они, вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу.

— Что Наташа? — спросил он.

— Худо, — отвечал огорченный отец, — хуже, чем я думал: она в беспамятстве бредит Валерианом.

— Кто этот Валериан? — спросил встревоженный старик. — Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?

— Он сам, — отвечал Гаврила Афанасьевич, — на беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волченка. Когда, тому два году, по его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял, как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан видно нет. Решено: она выйдет за арапа.

Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме всё стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:

— Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе недостает? — Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участию и лучшей не желает.

— Добро, — сказал государь, — если ты скучаешь без всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить.

По окончанию работы Петр спросил Ибрагима:

— Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минавет на прошедшей ассамблее?

— Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая.

— Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?

— Я, государь?..

— Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегод-

ня, завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством.

— Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне бог не пережить своего царя и благодетеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду жениться, то согласится ли молодая девушка и ее родственники? моя наружность...

— Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом? — При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления.

«Жениться! — думал африканец, — зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека, потому только, что я родился под пятнадцатым градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно верить любви? разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения — более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, доверностию и снисхождением».

Ибрагим по своему обыкновению хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра; оглянувшись и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. — «Всё, брат, конечно, — сказал Петр, взяв его под руку. — Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его бояр-

скую спесь; оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с ним о его заслугах, о знатности — и он будет от тебя без памяти. А теперь, — продолжал он, потряхивая дубинкою, — заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за его новые проказы».

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.

Глава VI

Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в котором блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы.

— Кто здесь? — произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. — Скоро ли рассветет? — спросила Наталья.

— Теперь уже полдень, — отвечала служанка.

— Ах, боже мой, отчего же так темно?

— Окна закрыты, барышня.

— Дай же мне поскорее одеваться.

— Нельзя, барышня, дохтур не приказал.

— Разве я больна? давно ли?

— Вот уж две недели.

— Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла...

Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить. Служанка всё стояла перед нею, ожидая приказанья. В это время раздался снизу глухой шум.

— Что такое? — спросила больная.

— Господа откушали, — отвечала служанка, — встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна.

Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.

Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами, и спросили вполголоса:

— Что Наташа?

— Здравствуй, тетушка, — сказала тихо больная; и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.

— Барышня в памяти, — сказала служанка, осторожно придвигая кресла.

Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом и по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал, а старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброю вестью тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу.

В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках, сидел царский арап, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности; и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.

— Вас зовут, Гаврила Афанасьевич, — сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.

— Дивлюсь твоему терпению, — сказал Корсаков Ибрагиму. — Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупаешь к тому свои нравоучительные примечания! На твоём месте j'aurais planté là* старого враля и весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, une petite

* Я плюнул бы на (старого враля) (франц.).

santé*... Скажи по совести, ужели ты влюблен в эту маленькую mijaurée? ** Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету: право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? Например: я конечно собою не дурен, но случилось однако ж мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, графа D.? — Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно! но ты!.. С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплюсненным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..

— Благодарю за дружеский совет, — перервал холодно Ибрагим, — но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...

— Смотри, Ибрагим, — отвечал смеясь Корсаков, — чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле.

Но разговор в другой комнате становился горяч.

— Ты уморишь ее, — говорила старушка. — Она не вынесет его виду.

— Но посуди ты сама, — возражал упрямый брат. — Вот уж две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя — а я ссориться с ним не намерен.

— Господи Боже мой, — сказала Татьяна Афанасьевна, — что с нею, бедною, будет? по крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению. — Гаврила Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную.

* Слабенькой (*франц.*).

** Жеманницу (*франц.*).

— Слава Богу, — сказал он Ибрагиму, — опасность миновалась. Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту.

Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя.

Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошел в светлицу, она села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришел. — Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила всё, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку.

Несчастливая красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. Ласточка (так называлась карлица) во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, высала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку.

Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во всё, знала всё, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она при-

обрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения шестнадцатилетнего своего сердца.

— Знаешь, Ласточка? — сказала она, — батюшка выдает меня за арапа.

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.

— Разве нет надежды, — продолжала Наташа, — разве батюшка не жалится надо мною?

Карлица тряхнула чепчиком.

— Не заступятся ли за меня дедушка или тетушка?

— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жениха грех нам и желать.

— Боже мой, боже мой! — простионала бедная Наташа.

— Не печалься, красавица наша, — сказала карлица, целуя ее слабую руку. — Если уж и быть тебе за арапом, то всё же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не запирают; арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи...

— Бедный Валериан, — сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.

— То-то, барышня, — сказала она, таинственно понизив голос, — кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.

— Что? — сказала испуганная Наташа, — я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается!

— То-то и беда, — отвечала карлица. — Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле родительской, а что будет, то будет.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.

Глава VII

В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картинка, изображающая Карла XII верхом. Звучки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.

В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого роста, в мундире, вошел в комнату.

Удивленный швед встал испуганно.

— Ты не узнал меня, Густав Адамыч, — сказал молодой посетитель тронутым голосом. — Ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки.

Густав Адамыч пристально всматривался...

— Э-э-э, — вскричал он наконец, обнимая его, — сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрий повес, погофорим.

.....

<I.>

Гости съезжались на дачу ***. Зала наполнялась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую Ит.<альянскую> оперу. Мало по малу порядок установился. Дамы заняли свои места по диванам. Около их составилась кружок мужчин. Висты учредились. Осталось на ногах несколько молодых людей; и смотр парижских литографий заменил общий разговор.

На балконе сидело двое мужчин. Один из них, путешествующий испанец, казалось, живо наслаждался прелестию северной ночи. С восхищением глядел он на ясное, бледное небо, на величавую Неву, озаренную светом неизъяснимым, и на окрестные дачи, рисующиеся в прозрачном сумраке. «Как хороша ваша северная ночь, — сказал он наконец, — и как не жалеть об ее прелести даже под небом моего отечества?» — «Один из наших поэтов, — отвечал ему другой, — сравнил ее с русской, белобрысой красавицей; признаюсь, что смуглая, черноглазая италианка или испанка, исполненная живости и полуденной неги, более пленяет мое воображение. Впрочем, давнишний спор между *la brune et la blonde** еще не решен. Но кстати: знаете ли вы, как одна иностранка изъясняла мне строгость и чистоту Петербургских нравов? Она уверяла, что для любовных приключений наши зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы». — Испанец улыбнулся. «Итак,

* Брюнеткой или блондинкой.

благодаря влиянию климата, — сказал он, — Петербург есть обетованная земля красоты, любезности и беспорочности». — «Красота дело вкуса, отвечал русской, но нечего говорить об нашей любезности. Она не в моде; никто об ней и не думает. Женщины боятся прослыть кокетками, мужчины уронить свое достоинство. Все стараются быть ничтожными со вкусом и приличием. Что ж касается до чистоты нравов, то дабы не употребить во зло доверчивости иностранца, я расскажу вам...» И разговор принял самое сатирическое направление.

В сие время двери в залу открылись, и Вольская взошла. Она была в первом цвете молодости. Правильные черты, большие, черные глаза, живость движений, самая странность наряда, всё поневоле привлекало внимание. Мужчины встретили ее с какой-то шутилой приветливостью, дамы с заметным недоброжелательством; но Вольская ничего не замечала; отвечая криво на общие вопросы, она рассеянно глядела во все стороны; лицо ее, изменчивое как облако, изобразило досаду; она села подле важной княгини Г. и, как говорится, *se mit à bouder**.

Вдруг она вздрогнула и обернулась к балкону. Беспокойство овладело ею. Она встала, пошла около кресел и столов, остановилась на минуту за стулом старого генерала Р., ничего не отвечала на его тонкий мадригал и вдруг скользнула на балкон.

Испанец и русской встали. Она подошла к ним и с замешательством сказала несколько слов по-русски. Испанец, полагая себя лишним, оставил ее и возвратился в залу.

Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами и в полголоса сказала своему соседу:

— Это ни на что не похоже.

— Она ужасно ветрена, — отвечал он.

— Ветрена? этого мало. Она ведет себя непростительно. Она может не уважать себя сколько ей угодно, но свет еще не

* Принялась дуться.

заслуживает от нее такого пренебрежения. Минский мог бы ей это заметить.

— *Il n'en fera rien; trop heureux de pouvoir la compromettre**. Между тем, я бьюсь об заклад, что разговор их самый невинный.

— Я в том уверена... Давно ли вы стали так добродушны?

— Признаюсь: я принимаю участие в судьбе этой молодой женщины. В ней много хорошего и гораздо менее дурного, нежели думают. Но страсти ее погубят.

— Страсти! какое громкое слово! что такое страсти? Не воображаете ли вы, что у ней пылкое сердце, романическая голова? Просто она дурно воспитана... Что это за литография? портрет Гуссейн-паши? покажите мне его.

Гости разъезжались; ни одной дамы не оставалось уже в гостиной. Лишь хозяйка с явным неудовольствием стояла у стола, за которым два дипломата доигрывали последнюю игру в экарте. Вольская вдруг заметила зорю и поспешно оставила балкон, где она около трех часов сряду находилась наедине с Минским. Хозяйка простилась с нею холодно, а Минского с намерением не удостоила взгляда. У подъезда несколько гостей ожидали своих экипажей. Минской посадил Вольскую в ее карету. «Кажется, твоя очередь», — сказал ему молодой офицер. — «Вовсе нет, — отвечал он, — она занята; я просто ее наперсник или что вам угодно. Но я люблю ее от души — она уморительно смешна».

Зинаида Вольская лишилась матери на шестом году от рождения. Отец ее, человек деловой и рассеянный, отдал ее на руки француженки, нанял учителей всякого рода, и после уж об ней не заботился. 14-ти лет она была прекрасна и писала любовные записки своему танцмейстеру. Отец об этом узнал, отказал танцмейстеру и вывез ее в свет, полагая, что воспитание ее кончено. Появление Зинаиды наделало большо<го>

* Он ничего подобного не сделает, так как слишком рад возможности ее скомпрометировать.

шуму. Вольский, богатый молодой человек, привыкший подчинять свои чувства мнению других, влюбился в нее без памяти, потому что Г**<осударь> встретив ее на Английской набережной, целый час с нею разговаривал. Он стал свататься. Отец обрадовался случаю сбывать с рук модную невесту. Зинаида горела нетерпением быть замужем, чтоб видеть у себя весь город. К тому же Вольской ей не был противен, и таким образом участь ее была решена.

Ее искренность, неожиданные проказы, детское легкомыслие производили с начала приятное впечатление, и даже свет был благодарен той, которая поминутно прерывала важное однообразие аристократического круга. Смеялись ее шалостям, повторяли ее странные выходки. Но годы шли, а душе Зинаиды всё еще было 14 лет. Стали роптать. Нашли, что Вольская не имеет никакого чувства приличия, свойственного ее полу. Женщины стали от нее удаляться, а мужчины приблизились. Зинаида подумала, что она не в проигрыше, и утешилась.

Молва стала приписывать ей любовников. Злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы. В светском уложении правдоподобие равняется правде, а быть предметом клеветы — унижает нас в собственном мнении. Вольская, в слезах негодования, решила возмутиться противу власти несправедливого света. Случай скоро представился.

Между молодыми людьми, ее окружающими, Зинаида отличила [Минского]. По-видимому, некоторое сходство в характерах и обстоятельствах жизни должно было их сблизить. В первой молодости Минский порочным своим поведением заслужил также порицание света, который наказал его клеветою. Минский оставил его, притворяясь равнодушным. Страсти на время заглушили в его сердце угрызения самолюбия; но усмирный опытами, явился он вновь на сцену общества и принес ему — уже не пылкость неосторожной своей юности, но снисходительность и благопристойность эгоизма. Он не любил света, но не презирал, ибо знал необходимость его одобрения. Со всем тем, уважая вообще, он не щадил его в осо-

бенности, и каждого члена его готов был принести в жертву своему злопамятному самолюбию. Вольская нравилась ему за то, что она осмеливалась явно презирать ему ненавистные условия. Он подстрекал ее ободрением и советами, сделался ее наперсником и вскоре стал ей необходим.

Б** несколько времени занимал ее воображение. «Он слишком для вас ничтожен», — сказал ей Минский. — Весь ум его почерпнут из *Liaisons dangereuses**, так же как весь его гений выкраден из Жомини. Узнав его короче, вы будете презирать его тяжелую безнравственность, как военные люди презирают его пошлые рассуждения».

«Мне хотелось бы влюбиться в Р.», — сказала ему Зинаида.

«Какой вздор!» — отвечал он. «Охота вам связываться с человеком, который красит волосы и каждые 5 минут повторяет с упоением: *Quand j'étais à Florence...*** Говорят, его несносная жена влюблена в него; оставьте их в покое: они созданы друг для друга».

— А барон W.?

— Это девочка в мундире; что в нем — но знаете ли что? влюбитесь в Л. Он займет ваше воображение: он так же необыкновенно умен, как необыкновенно дурен; et puis c'est un homme à grands sentiments***, он будет ревнив и страстен, он будет вас мучить и смешить, чего вам более?

Однако ж Вольская его не послушалась. Минский угадывал ее сердце; самолюбие его было тронуто; не полагая чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связи безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц, и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если б он мог вообразить бури его ожидающие, то отказался б от своего торжества, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию.

* <из> «Опасных связей».

** Когда я был во Флоренции...

*** А кроме того, это человек, способный к сильным чувствам.

<II>

Минский лежал еще в постеле, когда подали ему письмо. Он распечатал его зевая; пожал плечами, развернув два листа, вдоль и поперек исписанные самым мелким женским почерком. Письмо начиналось таким образом:

«Не умела тебе высказать всё, что имею на сердце; в твоём присутствии я не нахожу мыслей, которые теперь так живо меня преследуют. Твои софизмы не убеждают моих подозрений, но заставляют меня молчать; это доказывает твоё всегдашнее превосходство надо мною — но не довольно для счастья, для спокойствия моего сердца»...

Вольская упрекала его в холодности, недоверчивости и проч., жаловалась, умоляла, сама не зная о чем; рассыпалась в нежных, ласковых уверениях — и назначала ему вечером свидание в своей ложе. Минский отвечал ей в двух словах, извиняясь скучными необходимыми делами и обещаясь быть непременно в театре.

<III>

Вы так откровенны и снисходительны, сказ.<ал> Исп.<анец>, что осмелюсь просить вас разрешить мне одну задачу — я скитался по всему свету, представлялся во всех Евр.<опейских> дворах, везде посещал высшее общество, но нигде не чувствовал себя так связанным, так неловким как в проклятом вашем Аристокр.<атическом> кругу — Всякой раз когда я вхожу в залу Княгини В. — и вижу эти немые, неподвижные мумии, напоминающие мне Египетские кладбища, какой-то холод меня пронимает. Меж ими нет ни одной моральной Власти, ни одно имя не натвержено мне Славою — перед чем же я робею — Перед недоброжелательством, отв.<счал> Русский, это черта нашего нрава — В народе выражается она насмешливостию — в высшем кругу невниманием и холодностию. (О мужчинах нечего и говорить). На-

ши дамы к тому же очень поверхностно образованы, и ничто Евр.<опейское> не занимает их мыслей — Политика и литература для них не существует — Остроумие давно в опале как признак легкомыслия — О чем же станут они говорить? о самих себе? нет — они слишком хорошо воспитаны. Остается им разговор какой-то домашний, мелочной, частный, понятный только для немногих — для избранных — И человек не принадлеж<ащий> к это<му> малому стаду принят как чужой — и не только иностранец но и свой.

Извините мне мои вопросы, ск<азал> Исп<анец> — но вряд ли мне найти в другой раз удовлетворительных ответов и я спешу вами пользоваться — Вы упомянули о вашей Арис<тократии>; что такое русск.<ая> Арист<ократия> — Занимаясь Вашими законами — я вижу что наследственной Арист<ократии> основанной на неделимости имений у Вас не существует — Кажется между вашим дворянств<ом> существует гражданское равенство — и доступ к оному ничем не ограничен — На чем же основывается ваша т.<ак> на<зываемая> Ари<стократия> — разве только на одной древности родов — Русск<ий> засмеялся — [Вы ошибаетесь] отвечал он — древнее русское [дворянство,] в следствии причин вами упомянутых, упало в неизвестность и составило род третьего состояния. Наша благо<род>ная чернь, к который и я принадлежу, считает своими родоначальниками Рюрика и Мономаха — Я скажу на пример, продолжал русск<ий> [с] видом самодовольного небрежения, корень дворянства моего теряется в отдаленной древности, имена предков моих на всех страницах Ист.<ории> нашей. Но если <бы> я подумал назвать себя Аристокр<атом> то вероятно насмешил бы многих — Но настоящая Аристокр<атия> наша с трудом может назвать и своего деда — Древн<ие> роды их восходят до Петра и Елисаветы. Денщики, Певчие, Хохлы — вот их родоначальники — Говорю не в укор: достоинство, всегда достоинство — и Государств<енная> польза требует его

возвышения — Смешно только видеть в ничтожных внуках пир<ожников> ден<щиков> певч<их> и дьячков, спесь герцога Монморен <су>, первого Христианского Барона, [и] Клермон-Тонн<ера> — Мы так положительны что стоим на коленях пред настоящим случаем, успехом и <...> но очарование древн<остью> благодарность к прошедш<ему> и уважение <к> нравственным дост<оинствам> для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу Историю. Но едва ли мы вслушались — Мы гордимся не славою предк<ов>, но чином какого-нибудь дяди, или балами дворянской сестры — [Заметьте] что неуважение к предкам есть первый признак дикости <и> безнравственности —



<РОМАН В ПИСЬМАХ>

1. <Лиза — Саше>

Ты конечно, милая Сашинька, удивилась нечаянному моему отъезду в деревню. Спешу объяснить во всем откровенно. Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно Авдотья Андреевна воспитывала меня на равне с своею племянницею. Но в ее доме я всё же была воспитанница, а ты не можешь вообразить как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня. Не уж то предполагают во мне, думала я, зависть или что-нибудь похожее на такое детское малодушие? Поведение со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. Холодность их или приветливость, всё казалось мне неуважением. Словом я была Создание пренесчастное и сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальних родственниц, *demoiselles de compagnie** и тому подобное, обыкновенно бы-

* Компаньонки.

вают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца.

Тому ровно три недели получила я письмо от бедной моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала меня к себе в деревню. Я решилась воспользоваться этим случаем. Насилу могла выпросить у Авдотьи Андреевны позволения ехать, и должна была обещать зимою возвратиться в Петербург, но я не намерена сдержать свое слово. Бабушка мне чрезвычайно обрадовалась; она никак меня не ожидала. Слезы ее меня тронули несказанно. Я сердечно ее полюбила. Она была некогда в большом свете и сохранила много тогдашней любезности.

Теперь я живу *дама*, я хозяйка — и ты не поверишь, как<ое> это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутств<ие> роскоши. — Деревня наша очень мила. Старинный дом на горе, сад, озеро, рощи сосновые, всё это осенью и зимо<ю> немного печально, но за то весной и летом должн<о> казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я еще ни с кем не видалась. Уединение мне нравится на самом деле как в элегиях твоего Ламартина.

Пиши ко мне, мой ангел, письма твои будут мне большим утешением. Что ваши балы, что наши общие знакомые? Хотя я и сделалась затворницей, однакож я не вовсе отказалась от суеты мира — вести об нем для меня занимательны.

Село Павловское.

2. <Ответ Саши>

Милая Лиза.

Вообрази мое изумление, когда узнала я про<?> твой отъезд в деревню. Увидев княжну Ольгу одну, я думала, что ты нездорова, и не хотела поверить ее словам. На другой день получаю твое письмо. Поздравляю тебя, мой ангел, с новым образом жизни. Радуюсь, что он тебе понравился. Твои жалобы о прежнем твоем положении меня тронули до слез, но показались мне слишком горькими. Как можешь ты сравнивать

себя с воспитанницами и *demoiselles de compagnie*? Все знают, что Ольгин отец был всем обязан твоему и что дружба их была столь же священна, как самое близкое родство. Ты казалось была довольна своей судьбою. Никогда не предполагала я в тебе столько раздражительности. Признайся: нет ли другой, тайной причины твоему поспешному отъезду. Я подозреваю... но ты со мною скромничаешь, — и я боюсь рассердить тебя заочно своими догадками.

Что сказать тебе про Петербург? Мы еще на даче, но почти все уже разъехались. Балы начнутся недели через две. Погода прекрасная. Я гуляю очень много. На днях обедал у нас гости, — один из них спрашивал, имею ли о тебе известия. Он сказал, что твое отсутствие на балах заметно, как порванная струна в фортепиано — и я совершенно с ним согласна. Я всё надеюсь, что этот припадок мизантропии будет не продолжителен. Возвратись, мой ангел; а то нынешней зимою мне не с кем будет разделять моих невинных наблюдений, и некому будет передавать эпиграмм моего сердца. Прости, моя милая, — подумай и одумайся.

Крестовский остров.

3. <Лиза — Саше>

Письмо твое меня чрезвычайно утешило — оно так живо напомнило мне Петербург. Мне казалось, я тебя слышу! Как смешны твои вечные предположения! Ты подозреваешь во мне какие-то глубокие, тайные чувства, какую- [то] несчастную любовь — не правда ли? успокойся, милая; ты ошибаешься: я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай как Кларисса Гарлов.

Ты говоришь, что тебе некому будет нынешней зимою передавать своих сатирических наблюдений, — а на что ж переписка наша? Пиши ко мне всё, что ты заметишь; повторяю тебе, что я вовсе не отказалась от света, что всё касающееся до него для

* компаньонка

меня занимательно. В доказательство того, прошу тебя написать, кому отсутствие мое кажется так заметным? Не любезному <ли> нашему говоруну Алексею Р —? — Я уверена, что угадала... Уши мои были всегда к его услугам, а ему только и надобно.

Я познакомилась с семейством ***. Отец [балагур] и хлебо-сол; мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста; дочка, стройная меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле с книгой в руках, окружена дворными собаками, говорит о погоде на распев и с чувством подчует варением. У нее нашла я целый шкап, наполненный старинными романами. Я намерена всё это прочесть и начала Ричардсоном. Надобно жить в деревне, чтоб иметь возможность прочитать хваленую Клариссу. Я благословясь начала с предисловия переводчика и увидя в нем уверение, что хотя первые 6 частей скучненьки, зато последние 6 в полной мере вознаградят терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий, — наконец добралась до шестого, — скучно, мочи нет. Ну, думала я, теперь буду я награждена за труд. Что же? Читаю смерть Клар<иссы>, смерть Ловла<са>, и конец. Каждый т<ом> заключал в себе 2 части, и я не заметила перехода от 6 скучных к 6 занимательным.

Чтение Ричардс<она> дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек. Что есть общего между Ловласом и Адольфом? между тем роль женщин не изменяется. Кларисса, за исключением церемонн<ых> приседаний, всё же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что [способы] нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения... а в женщинах — они основаны на чувстве и природе, которые вечны.

Ты видишь: я с тобою болтлива по обыкновенному — не будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко мне как можно чаще и как можно более — ты не можешь вообразить, что значит ожидание почтового дня в деревне. Ожидание бала не может с ним равняться.

4. <Ответ Саши>

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобы смирить твоё самолюбие, объявляю, что Р — вовсе не замечает твоего отсутствия. Он привязался к леди Пелам, приезжей англичанке, и от нее не отходит. На его речи отвечает она видом невинного удивления и маленьким восклицанием *ohol!*, а он в восхищении. Знай: спрашивал меня о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой постоянный *admirateur* Владимир**. Довольна ли ты? Думаю, очень довольна, и по своему обыкновению осмеливаюсь предполагать, что и без меня ты догадалась. Шутки в сторону**, очень занят тобою. На твоём месте я бы завела его далеко. Что ж, он прекрасный жених... Зачем не выдти за него, — ты жила бы на Англ.<инской> набережной, по субботам имела бы вечера и всякое утр<о> заезжала бы за мною. — Полно тебе дурачиться, мой ангел, приезжай к нам и выходи за**.

Третьего дня был бал у К**. Народу было пропасть. Танцевали до 5 часов. — К. В. была одета очень просто; белое креповое платьице, даже без пирлянды, а на голове и шее на полмиллиона бриллиантов: только! Z по своему обыкновению была одета уморительно. Откуда берет она свои наряды? На платье ее были нашиты не цветы, а какие-то сушеные грибы. Не ты ли ей, мой ангел, прислала их из деревни? Владимир ** не танцевал. Он едет в отпуск. — С. приехали (вероятно первые), просидели всю ночь не танцуя и уехали последние. Старшая кажется была нарумянена — пора... Бал очень удался. Мужчины были недовольны ужином, но ведь они вечно должны чем-нибудь да недовольны. Мне было очень весело, хоть я и танцевала *кот<ильон>* с несносным дипломатом Ст —, который к природной своей глупости присоединил еще рассеянность, вывезенную им из Мадрита.

Благодарю тебя, душа моя, за отчет об Ричардсоне. Теперь я имею об нем понятие. Прочитать его не надеюсь — с моим нетерпением; я и в В<альтер> Ск<отте> нахожу лишние страницы. К стати: кажется роман Елены Н. и гр.<афа> Л. конча-

ется — по крайней мере он так приуныл, а она так важничает, что, вероятно, свадьба решена. — Прости моя прел<есть>, довольна ли ты моею сегодняшней болтовнею?

5. <Лиза — Саше>

Нет, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и приехать к вам на свою свадьб<у>. Откровенно признаюсь, что Владимир ** мне нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Он аристократ — а я смиренная демократка. Спешу объяснить и заметить гордо как истинная героиня романа, что родом принадлежу я к самому старинному русскому дворянству, а что мой рыцарь внук бородастого миллионщика. Но ты знаешь, что значит наша Аристокрация. Как бы то ни было, ** человек светский; я могла ему понравиться, но он для меня не пожертвует богатой невестою и выгодным родством. Если когда-нибудь и выйду замуж, то выберу здесь какого-нибудь сорокалетнего помещика. Он станет заниматься своим сахарным заводом, я хозяйством — и буду счастлива, не танцуя на бале у гр. К. и не имея суббот у себя на Анг.<линской> Наб.<ережной>.

У нас зима: в деревне с'est un événement*. Это вовсе перемениет образ жизни. Уединенные гуля<ния> прекращаются, раздаются колокольчики, охотники выезжают с собаками, — всё делается светлее, веселее от первого снега. Я никак этого не ожидала. Зима в деревне пугала меня. Но всё на свете имеет свою хорошую сторону.

Я короче познакомилась с Машинькой ***, и полюбила ее; у ней много хорошего, много оригинального. Нечаянно узнала я, что ** [их] близкий родня. Машинька не видала его 7 лет, но от него в восхищении. Он провел у них одно лето, — и Машинька беспрестанно рассказывает все подробности тогдашней его жизни. Читая ее романы, я нахожу на полях его замечания, бледно писанные карандашом — видно, что он был тогда ре-

* Это целое событие.

бенек. Его поражали мысли и чувства, над которыми конечно стал бы он теперь смеяться; по крайней мере видна душа свежая, чувствительная. — Я читаю очень много. Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 году роман писанный <в> 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостинной входим мы в старинную залу обитую штофом, садимся в атласные пуховые креслы, видим около себя странные платья, однакож знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею частию эти романы не имеют другого достоинства. Происшествие занимательно, положение хорошо запутано, — но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, оригинальный роман. Скажи это от меня моему неблагоприятному Р*. Полно ему тратить ум в разговорах с англ<ичанками>! Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает.

Маша хорошо знает русскую литературу — вообще здесь более занимаются словесностию, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обем стор<онам>, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, за что В*<яземский> и П*<упкин> так любят уездных барышен. Они их истинная публика. Я было заглянула в журналы и принялась за критики Вестн.<ика>*<Европы>, но их плоскость и лакейство показались мне отвратительны — смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безнравственности и неблагопр<истойности> сочинения, которые прочли мы все, мы — Санктпетербургские недоτροги!..

6. <Лиза — Саше.>

Милая! мне невозможно долее притворяться, мне нужны помощь и советы дружбы. Тот, от которого убежала, кого боюсь я как несчастья, ** здесь. Что мне делать? голова моя кружится, я теряюсь, ради бога реши, что мне делать. Расскажу тебе всё...

Ты заметила прошедшею зимою, что он от меня не отходил. Он к нам не ездил, но мы виделись везде. Напрасно вооружалась я холодностию, даже видом пренебрежения, — ничем не могла я от его избавиться. На балах он вечно умел найти место возле меня, на гуляньи он вечно с нами встречался, в театре лорнет его был устремлен на нашу ложу.

С начала это льстило моему самолюбию. Я, может быть, слишком это ему дала заметить. По крайней мере он, каждый час присвоивая себе новые права, всякой-?> раз-?> говорил мне о своих чувствах и то ревновал, то жаловался... С ужасом думала <я>: к чему всё это ведет! и с отчаянием признавала власть его над моей душою. Я уехала из Петербурга — думала тем прекратить зло в его начале. Моя решимость, уверенность в том, что исполнила я свой долг, успокоили было мое сердце. Я начинала думать о нем равнодушнее, с меньшею горестию. Вдруг я его вижу.

Я его вижу: вчера были именины ***. Я приехала к обеду, вхожу в гостиную, нахожу толпу гостей, уланские мундиры, дамы меня окружают, я со всеми ими перецаловалась. Не замечая никакого, сажусь подле хозяйки, гляжу: ** передо мной. Я остолбенела... Он сказал мне несколько слов с видом такой нежной, искренней радости, что и я не имела силы скрыть ни замешательства своего, ни удовольствия.

Пошли за стол. Он сел против меня; я не смела на него взглянуть — но заметила, что все глаза были устремлены на него. Он был молчалив и рассеян. В другое время меня бы очень занимало общее желание привлечь внимание приезжего гвардейск-ого офицера, беспокойство барышен, неловкость мужчин, хохот их при собственных шутках, и между тем учтив-ая> холодность и совершенное невнимание гостя... После обеда он ко мне подошел. Чувствуя, что мне было надобно что-нибудь сказать, я спросила довольно не кстати, по делам ли заехал он в нашу сторону «Я приехал по одному делу, от которого зависит счастье моей жизни», — отвечал он в полго-

лоса, и тотчас отошел; он сел играть в бостон с тремя старушками (в том числе с бабушкой), а я ушла на верх к Машиньке, где пролежала до вечера под предлогом головной боли. В самом деле, я была хуже чем не здорова. Машинька от меня не отходила. Она в восторге от **. <Он> пробудет у них месяц, или более. Она целый день будет с ним. Право, она влюблена в него — дай бог, что и он влюбится. Она стройна и странна — мужчинам только того и надобно.

Что мне делать, милая, здесь не будет мне возможности избегнуть его преследований. Он уж успел обворожить бабушку. Он будет ездить к нам — опять пойдут признания, жалобы, клятвы — и *к чему?* Он добьется моей любви, моего признания, — потом размыслит о невыгодах женитьбы, уедет под каким-нибудь предлогом, оставит меня — а я... Какая ужасная будущность! Ради бога, дай мне руку: я тону.

7. < Ответ Саши >

То ли дело облегчить сердце полной исповедию! Давно бы так, мой ангел! Охота же тебе было не сознаваться в том, что я давно знала: ** и ты — вы влюблены друг в друга — что за беда? На здоровье. Ты имеешь дар смотреть на вещи бог знает с какой стороны. Ты напрашиваешься на несчастье — берегись накликать его. Почему тебе не выдти за **. Где тут неодолимые препятствия? Он богат, а ты бедна — пустое. Он богат за двух — чего же вам более. Он аристократ; а ты именем, воспитанием разве не аристократка?

Недавно [спор зашел] о дамах высшего круга. Я узнала, что Р. объявил однажды себя на стороне аристокрации, потому что она лучше обувается. Итак, не явно ль что ты с головы до ног аристократка?

Извини меня, мой ангел, но твое патетическое письмо рассмешило меня. ** приехал в деревню для того, чтоб тебя видеть. Какой ужас! Ты гибнешь, ты требуешь моего совета. Уж не сделалась ли ты уездной героиней. Мой совет: обвенчаться как

можно скорее в вашей деревянной церкви, и приезжать к нам, чтоб явиться Форнариной в картинах, которые затеваются у С**. Поступок твоего рыцаря меня тронул кроме шуток. Конечно в старину любовник для благосклонного взгляда уезжал на 3 года сражаться в Палестину; но в наши времена уехать за 500 верст от Петербурга, для того чтоб увидиться со владычицею своего сердца, — право много значит. ** достоин награды.

8. <Владимир ** — своему другу>

Сделай одолжение, распусти слух, что я при смерти болен, я намерен просрочить и хочу соблюсти всевозможную благопристойность. Вот уж две недели как я живу в деревне и не вижу, как время летит. Отдыхаю от Петербургской жизни, которая мне ужасно надоела. Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да 18-летнему камер-юнкеру — Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете. — Тем и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревню. — Звание помещика есть та же служба. Заниматься управление 3^х тысяч душ, коих всё благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши...

Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ним<и> прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы [оставляем] их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает. Мы проживаем в долг свои будущие доходы, разоряемся, старость нас застаёт в нужде и в хлопотах.

Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по-миру. Древние фамилии приходят в ничтожество: новые поднимаются и в третьем поколении исчезают опять. Состояния сливаются, и ни одна <фа-

милия> не знает своих предков. К чему ведет такой политической материализм? Не знаю. Но пора положить ему преграды.

Я без прискорбья никогда не мог видеть уничтожения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. Да какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: Гр.<ажданину> Ми<нину> и кн<язю> <Пожарскому>. Какой К<нязь> П<ожарский>? Что такое гр<ажданин> Ми<нин>? Был Окольникович кн<язь> Дм<итрий Михайлович Пожарский> и мещ<анин> Козь<ма> Минич Сухор<укой>, выборный чело<век> от всего Г<осударства>. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не сущ<ествует>. Жалкой народ!

Аристократия чин<овная> не заменит аристократии родовой. Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминания<ми> народа. Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?

Говоря в пользу аристократии, я не корчу англ<ийского> лорда; мое происхождение, хоть я им и не стыжусь, не дает мне на то никакого права. Но я согласен с Лабрюером: *Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme**.

Всё это надумал я, живучи в чужой деревне, глядя на управление мелкопоместных дворян. Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек, но признаюсь, дай бог им промотаться как нашему брату. Какая дикость! для них не прошли еще времена Ф<он> Визина. Между ими процветают еще Простаковы и Скотиныны!

Это впрочем не относится к родственнику, у которого я в гостях. Он очень добрый человек, жена его очень добрая баба, дочь очень добрая девочка. Ты видишь, что я стал очень добр. В самом деле с тех пор как я в деревне, я стал отмен-

* Подчеркивать пренебрежение к своему происхождению — черта смешная в выскочке и низкая в дворянине.

но благосклонен и снисходителен — действие моей патриархальной жизни и присутствия Лизы ***. Мне было скучно без нее не на шутку. Я приехал уговорить ее возвратиться в Петербург. — Наше первое свидание было великолепно. Тетка м<оя> была именинница. Всё соседство съехалось. Явилась и Лиза — и едва поверила самой себе, увидев меня... Она не могла же не признаться, что я приехал сюда только для нее. По крайней <мере> я постарался дать ей это почувствовать. Здесь мой успех превзошел мои ожидания (что много значит). Старушки от меня в восхищении, барыни ко мне так и льнут, «А потому что п<атриотки>». Мужчины отменно недовольны моею *fatuité indolente**, которая здесь еще новость. Они бешутся тем более что я чрезвычайно учтив и благопристойен, и они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство — хотя и чувствуют, что я нахал. Прощай. Что делают наши? *Servitor di tutti quanti*** . Пиши ко мне в село **.

9. <Ответ друга.>

Поручение твое мною исполнено. Вчера в театре объявил я, что ты занемог нервическою горячкою, и что вероятно тебя уже нет на свете, — итак пользуйся жизнью, покамест еще ты не воскрес.

Твои нравственные размышления на счет управления имений радуют меня за тебя. То ли дело

Un homme sans peur <et sans reproche>
Qui n'est <ni roi, ni duc,> ni comte <aussi>***

Состояние помещика, по-моему, самое завидное.

Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей.

<.....>****

* Томным фатовством.

** Покорный слуга всех их, вместе взятых. (итал.)

*** Муж без страха и упрека,

Хоть он и не король, не герцог и даже не граф.

**** Здесь в рукописи явный пропуск. По-видимому, часть 9-го письма утрачена.

Пустившись в важные рассуждения я совсем забыл, что теперь тебе не до того — ты занят своею Лизою. Охота тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщинами. Это не достойно тебя. В этом отношении ты отстал от своего века и сбиваешься на *si-devant** гвардии хрипуна 1807 г. Покаместь это недостаток, скоро ты будешь смешнее генерала Г**. Не лучше ли заранее привыкнуть ко строгости зрелого возраста и добровольно отказаться от увядающей молодости? Знаю, что проповедаю втуне, но таково мое назначение.

Все твои друзья тебе кланяются и очень жалеют о преждевременной твоей кончине — между прочим и прежняя твоя приятельница, которая возвратилась из Рима, влюбленная в папу. Как это на нее похоже и как это должно тебя восхитить! Не приедешь ли для соперничества *cum servo servorum dei***.

Это было б похоже на тебя. Я всякой день стану тебя ожидать.

10. <Владимир ** — своему другу>

Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, но ты отстал от своего века — и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг, — нам было неприлично танцевать, и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это всё переменилось. — Французский кадрийль заменил Адама Смита, [всякой] волочится и веселится как умеет. Я следую духу времени; но ты неподвижен, ты *si-devant, un homme**** стереотип. Охота тебе сиднем сидеть одному на скамеечке оппозиционной стороны. Надеюсь, что Z — обратит тебя на истинный путь: поручаю тебя ее Ватиканскому кокетству. Что касается до меня, я совершенно предался патриаршеской жизни:

* <на> бывшего.

** с рабом рабов божьих (*лат.*).

*** <ты> бывший, человек <стереотип>.

ложусь спать в 10 часов вечера, езжу на порошу с здешн<ими> помещиками, играю с старухами в бостон по копейке и сержусь, когда проигрываюсь. С Лизою вижусь каждый день — и час от часу более в нее влюбляюсь. В ней много увлекательного. Эта тихая благородная стройность в обращении, прелесть вышн<его> петербургского общества, а между тем — что-то живое, снисходительное, добродородное (как говорит ее бабушка), ничего резкого, жесткого в ее суждениях, она не морщится перед впечатлениями, как ребенок перед ревен<ем>. Она слушает и понимает — редкое достоинство в наших женщинах. Часто удивлялся <я> тупости понятия или нечистоте воображения дам, впрочем очень любезных. Часто сам<ую> тонк<ую> шутку, самое поэтическое приветствие они принимают или за нахальную эпиграму или неблагопристойную плоскость. В таком случае холодный вид ими принимаемый так убийственно отвратителен, что самая пылкая любовь против него не устоит.

Это испытал я с Еленой***, в которую был я влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то нежность; она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей приятельнице. Это меня вовсе разочаровало. Кроме Лизы есть у меня для развлечения <Машинька***>. Она мила. Эти девушки, выросшие под яблонями и между скир<дами>, воспитанные нянюшк<ами> и природою, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения своих матерей, а там — мнения своих мужьев.

Прощай, мой милый; что нового в свете? Объяви всем, что наконец и я пустился в поэзию. Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за что Лиза очень мило бранила меня):

Глупа как истин<а>, скучна как совер<шенство.>

Не лучше ли:

Скучна (как истина, глупа как совершенство.)

То и другое похоже на мысль. Попроси В. прислать первый стих и отныне считать меня поэтом.

ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

Г-жа Простакова. То, мой батюшка, он
еще сызмала к историям охотник.

Скотинин. Митрофан по мне.

«Недоросль»

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Взявшись хлопотать об издании Повестей И.П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора, и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но к сожалению ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие.

*Милостивый государь мой****!*

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о за-

нятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, Милостивый Государь мой, всё, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышленный. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомяну), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы, и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для

сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностью; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел, и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и передал его дела (как и он сам) распоряжению Всевышнего.

Сие дружеских наших сношений несколько впрочем не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходствовали.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случилось мне видеть его на веселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почтеться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая*.

* Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницею на разные домашние потребности. Таким образом прошлую зиму все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ*. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околодка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей, и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волосы русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, Милостивый Государь мой, всё, что мог я припомнить, касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание

* В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестью рукою автора надписано: слышано мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подполковником И. А. П., «Гробовщицу» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» девицею К. И. Т.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16.

Село Ненародово

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия, и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.



ВЫСТРЕЛ

Стрелялись мы.
Баратынский

Я поклялся застрелить его по праву дуэли
(за ним остался еще мой выстрел).

«Вечер на бивуаке»

I

МЫ стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в из-

ношенном черном сертуке*, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частию военные да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лиш-

* сертук (*сюрт.*)

нее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнил счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным, и в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях, и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Одна-

ко ж мало-помалу всё было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера, мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа, — сказал им Сильвио, — обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, — продолжал он, обратившись ко мне, — жду не-

пременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Всё его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

— Может быть, мы никогда больше не увидимся, — сказал он мне, — перед разлукой я хотел с вами объяснитьсь. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

— Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р ***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р ***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал:

— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.

Любопытство мое сильно было возбуждено.

— Вы с ним не дрались? — спросил я. — Обстоятельства, верно, вас разлучили?

— Я с ним дрался, — отвечал Сильвио, — и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью, с галуном (то, что французы называют *bonnet de police*)*; он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.

— Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хватались пьянством: я перешил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливица столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое колебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удался. Я его возненавидел. Успехи его

* Полицейская шапка (*франц.*).

в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился

к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо, и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

— Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилов-

на, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащеную наливку, но от нее боле-ла у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, т. е. самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большею ча-стью в икоте и въздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б ***; но в нем жил только управит-ель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в пер-вый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем придет на лето в свою деревню. В са-мом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том ме-сяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной со-седки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отпра-вился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельству, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каж-дым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. От-выкнув от роскоши в бедном углу моем, и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери от-ворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дру-желюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомен-довать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, сво-бодный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчи-

вость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуше прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всажеными одна на другую.

— Вот хороший выстрел, — сказал я, обращаясь к графу.

— Да, — отвечал он, — выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? — продолжал он.

— Изрядно, — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого. — В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов.

— Право? — сказала графиня, с видом большой внимательности; — а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?

— Когда-нибудь, — отвечал граф, — мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

— О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать, у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не долж-

но пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Граф и графиня рады были, что я разговорился.

— А каково стрелял он? — спросил меня граф.

— Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену!

— Это удивительно! — сказал граф, — а как его звали?

— Сильвио, ваше сиятельство.

— Сильвио! — вскричал граф, вскочив со своего места, — вы знали Сильвио?

— Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был, как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?

— Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам... но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?

— Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?

— А сказывал он вам имя этого повесы?

— Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство, — продолжал я, догадываясь об истине, — извините... я не знал... уж не вы ли?..

— Я сам, — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным, — а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...

— Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать.

— Нет, — возразил граф, — я все расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.

Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился. — Первый месяц, the honey-moon*, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату, и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я, и признаюсь, я почувствовал, как волосы стали вдруг на мне дыбом. «Так точно, — продолжал он, — выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. «Жалею, — сказал он, — что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкою, которой никогда

* Медовый месяц (англ.).

не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить... но — я выстрелил и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.)

Я выстрелил, — продолжал граф, — и, славу богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились. Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая, — сказал я ей, — разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представляю тебе старинного друга и товарища». Маше все еще не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, — правда ли, что вы оба шутите?» — «Он всегда шутит, графиня, — отвечал ей Сильвио; — однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...» С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! — закричал я в бешенстве, — а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» — «Не буду, — отвечал Сильвио, — я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика, и уехал, прежде чем успел я опомниться.

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, которой начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.

МЯТЕЛЬ*

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот, в сторонке Божий храм
Виден одинокой.

.....

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

Жуковский

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, Прасковьей Петровною, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию, и что родители его любезной, заметя их

взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников, и скажут им непременно: дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась: множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре: обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня, Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти, и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою

жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с неприятной головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими.

Подали ужинать; сердце ее сильно забилося. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша укуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее

крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки-кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать, и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом, и поехал домой приготавливаться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега; небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и на-

прасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а поля не было конца. Всё сугробы, да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу, и въехал во мрак деревьев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около

полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избытки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» — «Каки у нас лошади», — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». — «Постой, — сказал старик, опуская ставень, — я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» — «Что ж твой сын?» — «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». — «Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиною, и пошел вперед то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. — «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассветет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шафторке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче, и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь открылась и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усастый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более, чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама, в беспрестанном бреду, высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что вероятно любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают

удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним, и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере она берегла всё, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством

ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: *Vive Henri-Quatre**, тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!* Как сладки были слёзы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура!*

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии, и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и *с интересной бледностию*, как говорили тамошние барышни. Ему было

* Да здравствует Генрих Четвертый! (*франц.*)

около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è, che dunque?..*

Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно и он, с своим умом и опытностию, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слышала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовию, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приутоворяла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы,

* Если это не любовь, так что же? (*итал.*)

всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, — отвечала старушка, — подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках, и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов, Мария Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным* и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Мария Гавриловна закрыла книгу и потушила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux**). «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминания об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала

* внезапным (*совр.*)

** Сен-Прё (*франц.*)

с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

— Я женат, — продолжал Бурмин, — я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна, — как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек, и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? — сказал мне кто-то, — невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь,

слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, — сказала эта, — насили вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна... Непонятная, непростительная ветренность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

— Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, Боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...



ГРОБОВЩИК

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?

Державин

Последние пожитки гробовщика Адрияна Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается внаймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение осмнадцати лет всё было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность, и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкап с посудой, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашенные, также отдаются напрокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведаёт, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутивными, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру, и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адрриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставлял их без дела глазющих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье (а иногда и удовольствие) в них нуждаться. Итак, Адрриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль, и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмазонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приблизился к гробовщику. «Извините, любезный сосед, — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доньше слышать не можем, — извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил

сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость?» — спросил Адриян. «Э-хе-хе, — отвечал Шулец, — и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть конечно мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». — «Сущая правда, — заметил Адриян, — однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома, и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адрияна Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию немцами ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почталцион Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее *с секирой и в броне сермяжной*. Он был знаком бóльшей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриян тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа

Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обеда с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриан ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку, и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием, и до того развеселился, что сам предложил какой-то шуточный тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, *unferer kundleute!*»* Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком сафьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в сем случае русскую пословицу: долг платежом красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле, — рассуждал он вслух, — чем ремесло мое

* Наших клиентов (*нем.*).

нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане? разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой: ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвцов православных». — «Что ты, батюшка? — сказала работница, которая в это время разувала его, — что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Экая страсть!» — «Ей-богу, созову, — продолжал Адриян, — и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попить; угощу, чем бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе еще было темно, как Адрияна разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адрияну верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция, и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты; свечи горели; священники читали молитвы. Адриян подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побожился, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком, и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру всё сладил, и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам,

отворил калитку, и в нее скрылся. «Что бы это значило? — подумал Адриан. — Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приблизился к калитке и собирался войти, но увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне, — сказал запыхавшись Адриан, — войдите же, сделайте милость». — «Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо, — ступай себе вперед; указывай гостям дорогу!» Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!» — подумал он и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался, и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, кушцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир от имени всей честной компании, — все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже невмочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел — так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приблизился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног би-

лись в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров, — сказал скелет. — Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему косяные объятия — но Адриян, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриян все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор, и объявила о последствиях ночных приключений.

— Как ты заспался, батюшка, Адриян Прохорович, — сказала Аксинья, подавая ему халат. — К тебе заходил сосед портной, и здешний будочник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.

— А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

— Покойницы? Да разве она умерла?

— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?

— Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у ты не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца — воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обеду отблаговестили.

— Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так, — отвечала работница.

— Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.

Князь Вяземский

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем однако справедливы, постараемся войти в их положение, и может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутовско князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя; но если не случится лошадей?.. Боже! какие ругательства, какие угрозы посылаются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки,

в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут — колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования, сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду, изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого зрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных зрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные зрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коиими нехотати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия зрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных, и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего зрители со мною не церемонились, и часто бирали с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие зрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле,

что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар, да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати, и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия, — да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пает свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает убитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Всё это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзаминном и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина,

человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сених я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошел в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, как

три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? — спросил я его, — мы с тобою старые знакомые». — «Может статься, — отвечал он угрюмо, — здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало». — «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает», — отвечал он. «Так, видно, она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомого.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? — начал он. — Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по полчаса заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. — Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей.